

Грядущее прошлое или настоящее будущее?

Левая реформация против либеральной архаики

...Хотя мы не можем поддержать нынешнюю систему, мы можем внести свой вклад в решение о том, по какой развилке пойдет мир, какого рода новую историческую систему он построит. Признаем мы это или нет, вокруг нас кипит борьба за систему-наследника.

Иммануил Валлерстайн

Очень сложно сказать, когда именно это случилось. Рубеж ощутимых перемен отсчитывается годами, возможно, парой десятилетий. Можно копнуть и глубже, но это сейчас не принципиально. Вдруг выяснилось, что наступившая эра, которую как-то уж несправедливо обыденно признали постиндустриальной, явно не отвечает оптимистическим ожиданиям своих знаменитых пророков.

Нет, кое-что, конечно, произошло. Но все это происшедшее явно не похоже на ту доктринальную амальгаму, которая предлагала комфортный и компромиссный выход всему спектру противоборствующих идеологий второй половины XX века. Эмоциональной и концептуальной разрядки не случилось. Хотя трудно не признать, что «капитализм Маркса» и «капитализм Вебера» в большей мере уже являются объектами «анатомического театра», чем неким злободневным переживанием. В любом случае сегодняшний мир не только выглядит иначе — он чувствует себя иначе. Тут, пожалуй, самое интересное то, что внешне он вполне опознаваем по всем тем формальным уликам, которые разбросаны в еще вчера апокрифических трудах Тоффлера и Белла.

Кое-что сбилось. К примеру, действительно, в каком-то смысле случилось и торжество «нерыночности» в облике победившего производства неотчуждаемых знаний. Тема «copy-right» и «copy-left» — это теперь самый любимый концептуальный леденец многих эпигонов «постиндустриальной теории». Предсказуемо наметилась и деформация исчисляемой стоимости, ее растворение в принципиально неизмеряемых цен-

ТКАЧУК Марк Евгеньевич — главный редактор международного журнала по археологии и культурной антропологии «Stratum-Plus», президент университета «Высшая Антропологическая школа» в Кишиневе (Республика Молдова), кандидат исторических наук.

Ключевые слова: глобальный кризис, проектное мышление, левая реформация, либеральная архаика, культурная катастрофа, смена культур, орудийная история, социальная гравитация.

ностях. Этот сюжет в своей карикатурно-конспирологической ипостаси кочует в предсказаниях близкого краха всей глобальной монетарной и кредитно-денежной системы. В какой-то мере обрела реальность виртуализация собственности, давшая активным менеджерам — от распорядителей привокзальных киосков до продвинутых офицеров интернет-компаний — не только ощущение вовлеченности в некий творческий, инновационный процесс, но и чувство определенного превосходства над геральдическими владельцами капитала. Угрюмая социальность со всей свитой своих неразрешимых конфликтов уступила место конфликтам информационным и культурным, а университеты и в самом деле приобретают облик автономных производителей знаний, попирающих своей респектабельностью уже антикварные остовы фабрик и заводов.

Сегодняшний мир выглядит так из любой точки глобального пространства. И он порой кажется себе самому таким — вне зависимости от того, что три четверти планеты живут, мягко говоря, иной жизнью. Глобальность современных телекоммуникаций создает всемирно потребляемый образ именно такой цивилизации. И на экране шиферного кинотеатра в Полинезии, и на мониторе планшета торговца секунд-хендом в общем вагоне поезда «Алма-Ата — Урумчи» современность выглядит примерно так.

Подобная цивилизационная оптика проявляет себя не впервые. Уже первые обобщения человеческой истории в ее стадильном воплощении, начиная с Тита Лукреция Кара, строились на эстафете авангардных проявлений, а не на прозе той жизни, которая переживалась очередным большинством человечества. И еще сегодня мы стартуем в цивилизационной истории с пирамид Египта и руин Иерихона, шумерской клинописи, античной Греции, римской цивилизации, хотя все это, безусловно и всегда, могло бы рассматриваться не в облике мейнстрима, а лишь в качестве периферийных отклонений от некоего разновекторного пути, по которому двигалось все остальное человечество.

Ну, да дело не в этом. Как раз принципиально то, что даже в евроатлантическом эпицентре современной цивилизации ощущения от переживаемой эпохи явно диссонируют с внешними атрибутами победившей постиндустриальности. Недавний глобальный кризис резко усилил эти чувства, породив невротический дискомфорт не только у анонимных миллионов граждан США, стран Евросоюза и их периферийных сателлитов, но и поставив в тупик всех без исключения признанных интерпретаторов происходящего. Постиндустриальный мир оказался — в сравнении со своим кроваво-неказистым индустриальным предтечей — миром, в котором принципиально больше бедности, больше несправедливости и, что особенно важно, ощутимо меньше демократии. Таким современный мир видится и давним принципиальным критикам современного мироустройства — от Иммануила Валлерстайна до Джованни Арриги, и таким деятельным идеологическим инсайдерам современных глобальных процессов, как Джозеф Стиглиц, Жак Аттали, Джордж Сорос, Доминик Строс-Кан и Джефффри Сакс.

Этот современный мир оказался не просто не таким, каким он виделся из оптимистических 1960-х, прагматично-циничных 1980-х: он вообще оказался *неизвестным и чужим*.

Вся интеллектуальная посткризисная пруть глобальных социологов и экономистов либерально-консервативного направления в некой усредненной совокупности пришла к ряду концептуальных тезисов о важности нового понимания неэкономических факторов в экономике, недооцененности этических нормативов и стереотипов потребления, культуры и массовой психологии, приоритетности в понимании общественных ожиданий и прочих феноменов, скорее привычных для культурной антропологии. Но и этот общий вывод, извлеченный из пережитого кризиса, в лучшем случае скорее отсылал к вошедшим в моду в очередной раз трудам Карла Полянши, нежели позволял осознать современность. С другой стороны, если судить по действиям современных государств — от Атлантики до Тихого океана, то нет никаких оснований утверждать, что пережитый недавно кризис видоизменил существующие глобальные стратегии. Правящие элиты по-своему легко адаптировались к существующему положению вещей и безоглядно сделали шаг навстречу тому построенному миру, который, как выяснилось, не только оказался не *нашим*, но еще и не *новым*. Миру, который по самой своей сути смутно напоминает совершенно об иных временах, иных ценностях и иных свободах.

Правящие элиты по-своему легко адаптировались к существующему положению вещей и безоглядно сделали шаг навстречу тому построенному миру, который, как выяснилось, не только оказался не *нашим*, но еще и не *новым*. Миру, который по самой своей сути смутно напоминает совершенно об иных временах, иных ценностях и иных свободах.

Наверное, всем горячим адептам постиндустриальной формации в свое время сложно было представить, что грядущая постиндустриальная «нерыночность» приобретет доиндустриальный облик. Что «постиндустриальность» будет означать не желанную и искомую преодоленность прошлой фазы развития, а «недоиндустриальность», «уже не индустриальность», «деиндустриальность». Что при всей визуальной изменчивости и динамичности общества XXI века начнут принимать свойства и признаки организмов, утративших самое главное смысловое приобретение последних двух с половиной тысячелетий письменной истории — *представление о будущем времени*. Что социальные структуры современных обществ начнут удивлять появлением и утверждением институтов напроць забытого прошлого, часто весьма архаических. Причем не всплывших загадочным образом из коллективной социальной памяти, а искусственно сконструированных и адаптированных к текущим задачам. Этаким доиндустриальный *новодел* в формате новоприобретенной

коррупции, nepoтизма, клановости, негласных или демонстративных престижно-дарственных отношений, восстановленных якобы древних национальных традиций, обрядов, идентичностей, монархических ритуалов, таковыми не являющихся. Ряженный карнавал из имитаторов «крестоносцев-мстителей» за 11 сентября 2001 года, бесстрашных ревнителей ислама в ипостаси ИГИЛ, так же походящих на воинов Салах ад-Дина, как Джордж Буш на Ричарда Львиное Сердце. Список можно продолжать в восточном направлении, перечисляя персонажей этого настоящего средневекового маскарада. Свидомые «петлюровцы» против игровиков «деникинцев», в равной степени воцерковившихся до инквизиторской глубины, конечно же, очень органично смотрятся на этом винтажном гобелене.

Еще недавно трудно было предполагать, что «конец истории» Фукуямы приобретет совершенно иной, зловещий смысл. Что это будет своеобразный конец всякой *проектности*, всякой *историчности*, нацеленности на будущее, на некий идеал, на отложенный результат. Что программой и тезаурусом современных смыслов станет вневременная концепция извечной войны практически неизменных цивилизаций. Будь то в исполнении Сэмюэля Хантингтона или в амплуа его арабизированных, китаизированных, русифицированных, украинизированных или тюркизированных авторских двойников.

Да, XXI век в полном соответствии с предсказаниями теоретиков постиндустриального общества стал временем межкультурных и межконфессиональных конфликтов. Но те ли это гомеопатические столкновения, которые должны были заменить собой кровавые революции прошлого?

Понятно, что кровавые революции — это как бы плохо, но смена парадигмы происходит в ином ключе. Она происходит в пользу «столетней» и «тридцатилетней войны», «войны Алой и Белой Розы», сожженной Александрийской библиотеки, «Варфоломеевской ночи». И мы наблюдаем, как разворачивается эта спираль новых конфликтов, инициаторы которых обряжаются в музейные экспонаты и театральные реквизиты и начинают искренне друг друга ненавидеть в строгом соответствии с репертуаром стиля фэнтези, именуя друг друга орками, полуросликами и троллями. Занудная экспертная научность — ничто в сравнении с этой мифологической картиной мира, симулирующей Раннее Средневековье, сдобренной все новыми и новыми откровениями мировой сети о вечной священной войне с второсортным, ненастоящим народом и его фальшивым государством. Сейчас это везде так. Где бы это ни происходило! Будь то на Ближнем Востоке все последние пятнадцать лет, в Сараево в 1992 году, где под обстрелом сгорело полтора миллиона томов книг и более 155 тысяч редких рукописей, или в «Доме профсоюзов» в Одессе 2 мая 2014 года, где заживо было сожжено 42 человека.

И если революции завершались, как правило, экономической и социальной модернизацией и активно пытались постфактум оправдать террор хотя бы прошлой «вековой несправедливостью» и взаимными эксцессами гражданской войны, то постиндустриальный конфликт цивилизаций выглядит совсем иначе. Его участники, подобно раннесредневековым персонажам «Песни о Роланде» или «Беовульфа», гордятся

собой и оправдываться не собираются. У взявших верх сарацинов, равно как и у поверженного дракона Гренделя, в современном мире нет и не может быть адвокатов. Они не нужны. Грендель и Беовульф не спорят. Они противостоят. Так же, как современным беовульфам зеркально противостоят уже приспособленные к очередной битве «Ирана и Турана» модернизированные эпосы о Сайфе и Шах-Наме.

Этим и ограничивается вся сюжетная линия, вся интрига господствующего мировидения. Основания для примирения нет. Взаимная неизменность не предполагает ничего, кроме победы, поражения или вечного конфликта. И эти настоящие войны с настоящей кровью — печальный реквием у одра той цивилизации, которая более двух тысяч лет назад открывалась миру с ясным представлением о будущем, с надеждой на будущее.

Эра оптимизма — оптимизма, утрачиваемого на глазах, — вероятно, зачиналась где-то в эпоху античной архаики. «Осевое время» Карла Ясперса, ознаменованное первыми иудейскими пророчествами в далеких VIII—VI веках до н. э., первыми откровениями о будущем, первыми эсхатологическими ожиданиями и первыми наитиями Анаксимандра о временной причинно-следственной связи, с неизбежностью преемственно переросло в христианскую эпоху, которая лишь усилила эту линию восприятия времени. Считается, что «христианство восприняло из Ветхого Завета переживание времени как эсхатологического процесса, напряженного ожидания великого события, разрешающего историю, — пришествия мессии»¹. Мирча Элиаде пишет: «...судьба человечества, равно как и частная судьба каждого из нас, включается — также один раз, раз и навсегда — в конкретное и необратимое время, “время истории и жизни”... Именно эта концепция линейного времени и истории, которую уже во II веке наметил Ириней Лионский, будет воспринята святым Василием, святым Григорием и окончательно разработана святым Августином»².

Проектное мировидение, основанное на линейном и необратимом восприятии времени, позволило христианству не только преодолеть «темные века» Раннего Средневековья, но и стать инкубатором, в котором вызревали и выковывались все основные категории эпохи Просвещения и последовавшей за ним эпохи социальных и научных революций. От идей технологического прогресса до переустройства общества, его модернизации на буржуазных, социалистических, коммунистических или постиндустриальных началах. Проектное мировоззрение объективно всякий раз порождало ценностную цепочку представлений, которые сегодня систематики-политологи уверенно кладут на полку, где хранятся артефакты и окаменелости сугубо левых доктрин. Стоит только начать рассуждение о далеком будущем, не говоря уже о стремлении его преобразовать и видоизменить, как тут же с абсолютно прикладной утилитарностью оживают идеологемы-концепты — *солидарность, справедливость, сострадание, равенство, жертвенность, самопожертвование, надежда*. Все эти стихийные чувства возникают *лишь в пути*, в развертывании

¹ Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. М., 1972. С. 96.

² Элиаде М. Миф о вечном возвращении // Он же. Избранные сочинения. М., 2000. С. 111—112.

некоего коллективного движения к цели, которое и приобретает форму единственного мерила всего и вся, уникального абсолюта — страшного суда или земного рая. Вне контекста будущего эти понятия не только не возникают, они теряют смысл. Не случайно не только социалистические идеологи, но и совершенно консервативные мыслители, подобно Арнольду Дж. Тойнби, видели некую духовно-ценностную связь между реформаторами подобно Петру I, Кемалю Ататюрку, Ганди и пророками европейской «коммунистической ереси», равно как и ее практическими исполнителями в масштабном советском проекте³. Не случайно и все левые идейные и практические проекты XIX—XX веков так легко находили самим себе аналогии не в облике испанской инквизиции, и даже не в ипостаси ее просвещенных жертв, но в первую очередь в общинах первых христиан и в этических императивах стоиков.

Вне представлений о будущем, вне стремления его преобразовать подобных ценностных инструментов не возникает. Не возникает и подобных аналогий. И бесполезно взывать к милосердию и состраданию в эпоху, живущую одним днем! Бессмысленно говорить о солидарности тогда, когда временной горизонт ограничивается вечерними новостями. Смешно напоминать о равенстве там, где весь смысл бытия сводится как минимум к сохранению собственного престижного места в потребленческой иерархии. И уж совершенно глупо вспоминать о самопожертвовании, когда понятие «венчур» вызывает значительно больше сильных и искренних эмоций.

Уже замечено, что современное массовое ощущение времени принципиально отличается от совсем еще недавнего. Причем рубеж этого самого *недавнего* приходится на период триумфальной победы либерализма, обозначенного известным восклицательным знаком Фрэнсиса Фукуямы. Настоящее вытеснило все формы темпоральности. Прошлое и будущее исчезли. Современный мир живет в плену временной парадигмы, характеризующейся ситуативностью, ритуальной цикличностью, которые еще вчера академическая наука считала исключительным атрибутом архаического общества. Причем циклический ритуал современного общества сводится не только к новообретенному церковному календарю.

Для современного архаического ритуала, оказывается, вполне подходят проходящие раз в четыре года демократические выборы, кастрирующие все проектные наития, прогнозы и практические программы до

³ См. Тойнби А. Цивилизация перед судом истории. Мир и Запад. М., 2011. С. 291.

⁴ Вот очень точная оценка наблюдаемой ситуации: «Нет такого государственного органа с долгосрочным мандатом, где вам могли бы ответить на вопрос о том, кто готовит ответные меры на эпохальные изменения (если вообще кто-то этим занимается). Вместо этого практически все аспекты человеческой жизни строятся и оцениваются, упаковываются и оплачиваются из расчета на несколько месяцев или лет. Мало шансов стряхнуть с этих проектов краткосрочный балласт. По-видимому, вряд ли вообще стоит поднимать вопросы о долгосрочной перспективе. В эпоху непрекращающихся кампаний политики строят планы ровно до следующего тура выборов. В своих публичных выступлениях они говорят о детях и внуках, но в выборе приоритетных вопросов руководствуются электронными циклами, занимающими от двух до семи лет. В результате на разрушающуюся инфраструктуру и школы выделяется меньше денег, чем на любые инициативы, обещающие создать рабочие места прямо сейчас» (Gudi J., Armitage D. The history manifesto. Cambridge et al.: Cambridge University Press, 2014. P. 1—2).

предсказуемого и неизменного интервала⁴. Не случайно политик или партия, нежданно-негаданно выдвигающие программу, заглядывающую на 20—30 лет вперед, хранителями демократического культа зачастую предаются остракизму! Как минимум — за скрытое стремление к узурпации власти.

Франсуа Артог напрямую датирует появление этой новой реальности периодом, последовавшим за падением Берлинской стены, угасанием коммунистической идеи и одновременной вспышкой фундаменталистских течений. Именно с этого момента, как полагает ученый, наступает «смещение архаики и современности», когда «на фундаменталистские движения накладывается отпечаток современного ощущения “закрытости будущего”, в то время как традиции, к которым они обращаются для ответа на вызовы сегодняшнего дня, отнюдь не прочерчивают реальной перспективы из прошлого в будущее, но в значительной степени являются “изобретенными” здесь и сейчас». Эта системная перемена, по мысли Артога, была объективно предрешена торжеством общества всеобщего потребления, «область которого расширилась вместе с распространением категории настоящего времени, сделавшейся целью этого общества и его оправданием»⁵.

Еще на слуху обороты линчевателей социальных теорий, обращенных в будущее: *«Якобинская диктатура, красный террор, культурная революция — ай как это все плохо, вся эта свита утопических проектов, “благих намерений”, которыми вымощена дорога в ад. Как надо-ели, укачали все эти бесконечные левые утописты, недооценивающие рациональную человеческую природу, нацеленную на то, чтобы жить хорошо сейчас, сегодня, в этом вот месте»*. Но трижды прав Франсуа Артог: либерализм с его религиозным культом *настоящего* не смог бы одержать мировоззренческой победы, если бы не являлся органической и естественной идейной оболочкой того самого постиндустриального общества, которое иначе зовется *обществом всеобщего потребления*. Стекланные бусы и жестяные зеркала, а не евангелия от Джона Милля и Фридриха Хайека, несли миссионеры либерализма разочарованным туземцам Старого и Нового Света. И либеральный тоталитаризм, обладая таким стратегическим преимуществом, вооруженный до зубов инструментами всеобщего потребления, воспевавший осанну настоящему и предавший анафеме всякое будущее, конечно же, одержал верх.

Демонстративная аллергия ко всякой проектности, ко всякой футурологии, ко всякому долгосрочному прогнозу, заглядыванию вперед, ко всякой телеологии стала теперь общим местом, уважаемым интеллектуальным стилем. А все эти «заигрывания с боженькой» *будущего* оказались в списке бесспорных «идейных предрассудков» современности. Более того, все чаще они становятся почвой для обвинений в самом тяжком грехе — грехе коммунизма. И совершенно не случайно в то самое время, когда боевики ИГИЛ чинят расправу над неуместными в настоящем месопотамскими древностями, их украинские современники казнят памятники Ленину — раздражающие инфернальных и фольклор-

⁵ См. Артог Ф. Порядок времени, режимы историчности // Неприкосновенный запас. 2008. № 3 (59).

ных революционеров своим демонстративным напоминанием об эпохе, смотрящей далеко за горизонт. Агрессивному настоящему не нужны ни первое, ни второе — ни прошлое, ни будущее.

Можно спорить: что это за новое общество, в котором мы живем? Это то самое «новое Средневековье», о котором писали Николай Бердяев, Роберто Вакк или Умберто Эко, или это просто пришествие очередных «темных веков» безвременья?

Ясно лишь одно, что это общество типологически близко всему тому, что исследователи отмечали и отмечают применительно к эпохе, следовавшей за крушением Римской империи, или же к тому состоянию, в котором пребывала цивилизация в постмикенский период затяжного регресса, «когда Греция была отброшена на несколько веков вспять, низведена обратно на уровень первобытнообщинных отношений и новое свое восхождение к цивилизации должна была начать практически с нуля»⁶. Не хватает руин Коллизея и Кносского дворца? Но уже нет сомнений, что эти величественные декорации в любой момент могут живописно дополнить представленную картину новой архаики, *архаики либеральной*.

И тут можно было бы поставить точку. Ведь, право, какие могут быть надежды на переустройство *такого* мира? Ведь не будем же мы принимать за пролог к очередной проектности события «арабской весны» или акции «Оссуру Wall-street»? И пусть этот мир несправедлив и жесток, знаем ли мы прецеденты радикальных преобразований именно на таких унылых стадиях? В период «всемирного» кризиса верхнего палеолита, катастрофы позднебронзового века, «темных веков» постмикенского регресса или Раннего Средневековья было, мягко говоря, не меньше несправедливости, тем не менее все «протестно-проектное движение» до нас дошло в форме ритмических перепевов об элитарном конфликте Троянской войны и столь же недостоверных сказаний о короле Артуре. Но одновременно постфактум мы знаем, что все эти кризисные стадии позже нашли все-таки какое-то позитивное разрешение, по крайней мере они так или иначе стали почвой для принципиально новых состояний обществ — неолитической революции, революции железного века и каролингского возрождения.

Тем не менее, несмотря на яркие и красноречивые аналогии в прошлом, нынешний кризис действительно не имеет прецедентов. И дело не только в том, что он попросту по известным и тривиальным причинам может знаменовать финал самой человеческой истории. Дело в том, что то состояние, которое сегодня является объектом глобального переживания, является уникальным пересечением трех кризисных линий в развитии цивилизации, трех форм проявления человеческой истории, трех *временных* измерений этого процесса.

Все эти три измерения редко рассматриваются порознь — их действительно сложно разграничить без определенных теоретических усилий. Но, тем не менее, опыт гуманитарных наук последних 40 лет

⁶ Фролов Э. Д. Рождение греческого полиса. СПб., 2004. С. 59. См. также: Андреев Ю. В. К проблеме постмикенского регресса // Вестник Древней истории. 1985. № 3. С. 9—29.

(особенно опыт археологии и культурной антропологии) позволяет с уверенностью говорить о том, что человеческая история всегда и всюду пребывает в пересечении трех времен, трех разных по своей траектории процессов, трех историй — *истории культур, орудийной (технологической) истории и истории социальной*. Это, понятно, взаимозависимые, но разные истории. Научные представления о них (формирующиеся сейчас в облике *культурной, экономической и социальной антропологии*) дополняют друг друга так же, как квантовая и волновая теория света, как принцип дополнительности Нильса Бора, без которых уже невозможно понять и объяснить такую трехмерную реальность, как процесс человеческой истории.

Все эти три истории чрезвычайно насыщены событиями. Время первобытной или аграрной архаики, кажущееся, к примеру, современному социологу или историку неким довольно однообразным континуумом, временем «холодных», малоподвижных структур (в терминах К. Леви-Стросса и Ф. Броделя), в интерпретациях археологов и антропологов в буквальном смысле исполнено самых драматичных страстей, конфликтов и коллапсов. Смена культур, часто катастрофическая, не сводимая к каким-либо однозначным причинам — в облике сотен локальных и хронологических феноменов, — в буквальном смысле стала «проклятым вопросом» наук о древностях⁷. Та самая проблематика — о революциях, прогрессе и регрессе, столкновении традиций и объяснении инноваций, — которой так увлечены специалисты по Новой и Новейшей истории, давно стала прозой для археологов и антропологов, постоянно генерирующих все новые и новые теории на сей счет. Проблема лишь в том, что очень редко тенденции и закономерности, открытые для большей части человеческой истории, увязывают с теми актуальными явлениями и тенденциями, которые мы сейчас переживаем. Мы все еще очень редко видим связь между ними. Тем не менее это следует делать — хотя бы в самом тезисном виде.

* * *

Итак, какой видится связь трех времен в контексте той актуальной эсхатологической картины, свидетелями которой мы стали? И о чем эта связь свидетельствует?

Прежде всего, культурная история на всех срезах человеческой истории выглядит как калейдоскоп разных, порой демонстративно разных и всегда уникальных культур. Целый спектр исследований, посвященных объяснению самого всеохватывающего феномена культуры (от Лесли Уайта, Клайда Клакхона до Клиффорда Гирца), смены культур и культурных катастроф (от Гордона Чайлда до Колин Ренфрю, Льва Клейна, Юрия Лотмана и Джарета Даймонда), привел к пониманию некоторых универсальных законов, которые управляют процессом культурного развития⁸.

⁷ См.: Клейн Л. С. Проблема смены культур в современных археологических теориях // Вестник ЛГУ. 1975. № 8. С. 95—103; Он же. История археологической мысли : в 2 т. СПб.: Изд-во С.-Петербургского университета, 2011.

⁸ См. Ткачук М. Археология свободы. Опыт критической теории. Кишинев, 1996.

Это развитие всегда движется по одной и той же траектории — от вызывающего, барочного разнообразия своих проявлений на ранних стадиях к униформизации, стандартизации и застою накануне гибели. Вне зависимости от того, от каких именно конкретно-исторических причин гибнет культура (экологических, демографических, климатических, вследствие пандемических болезней, войн или нашествий), она гибнет, как правило, на стадиях своей максимальной уязвимости, на стадиях утраты своего внутреннего иммунитета. Траектория культуры от точки возникновения до точки гибели определяется взрывообразным появлением того или иного коллективного «порогового смысла» — модуса вивенди, представления о добре и зле, о героях и антигероях, который уникальным образом выстраивает всю иерархию стереотипов. Примерно так же, как компьютерная оболочка «Windows» придает смысл, а точнее — позволяет работать всем остальным частным программам.

Рождается всякая новая культура со своим уникальным набором признаков случайным и непредсказуемым образом. Гибнет закономерно. В этом смысле традиция как основной транслятор внегенетической информации, возникающая в момент рождения того или иного «порогового смысла», является не чем иным, как «запрограммированным самоубийством культуры». Традиция как инструмент адаптации культуры, появившись в определенных условиях ситуативных конкретно-исторических вызовов, с каждым новым шагом во времени утрачивает свою пластичность и адекватность изменяющейся внешней и внутренней среде, становясь во всякой культуре основным инструментом репрессивности, табуирования, неспособности пластично приспособляться.

Отправным механизмом этого процесса является врожденная установка человеческой психики на идеал, на позитивный выбор даже в условиях отсутствия каких-либо объективных критериев для отбора. Более того, в известных экспериментальных наблюдениях Владимира Лефевра эта установка на идеал срабатывает в точной пропорции «золотого сечения»⁹. Абсурд идеализации того или иного порогового смысла в начале пути культурного развития оборачивается инверсией и десакрализацией его на финальных стадиях, в строгом соответствии с динамическим архетипом движения от великого к смешному. А потому культура вновь и вновь сменяется именно на культуру, одна система стереотипов — на другую систему стереотипов, один утративший свежесть императив «порогового смысла» — на новый, наконец в очередной раз все разъясняющий идеал.

Необратимость культурного процесса носит абсолютный характер. Сколь бы «высоко» ни поднималась та или иная локальная культура в своем развитии — к письменности, урбанизации, сложным религиозным и философско-правовым представлениям, к развитому гончарству и прочим ремеслам, — ее кризис и падение способны в буквальном смысле стереть все это из коллективной памяти. Даже при условии физического выживания ее носителей. Так было при переходе от меднока-

⁹ См. Лефевр В. Алгебра совести. М.: Когнито-Центр, 2003.

менного века к культурам бронзового века в Восточной Европе, когда на смену цивилизациям, обладавшим протогородскими центрами, домостроительством (порой в несколько этажей), керамикой, декорированной орнаментами, уже очень близко походящими на идеографическое письмо, пришла brutальная и аскетичная культура скотоводов III тысячелетия до н. э. Так было в период «вселенского кризиса» бронзового века (XIV—XIII века до н. э.), когда процесс переформатирования пережила почти вся средиземноморская цивилизация, когда в следующих культурах не осталось и намека от архитектурных традиций «дворцовой крито-микенской» цивилизации, когда были навсегда позабыты «хеттская клинопись» и микенское «линейное письмо Б». Менее ярких и хрестоматийных примеров очень и очень много. Вся культурная история прошлого выглядит именно так — дискретно, катастрофично, интервально, без всяких намеков на некую линейную либо спиралевидную поступь эволюции.

Взгляд на человеческую историю сквозь призму культурной истории очень напоминает те самые волновые процессы от хаоса к порядку, которые были описаны Ильей Пригожиным и Германом Хакеном. Глобальная траектория культурной истории, смены культур, от бифуркации к бифуркации, от новой культуры к следующей новой культуре, напоминает запутанный клубок, состоящий из вполне предсказуемых отрезков. Эта траектория действительно в целом носит «странный» (в термодинамическом смысле), непредсказуемый характер. Она не делится на стадийные ступени, на прогрессивные и регрессивные фазы, высоко-развитые и недоразвитые цивилизации, как бы нам этого ни хотелось. С точки зрения механизмов зарождения и смены культур все культуры в одинаковой степени оказываются равны друг другу, все культуры уникальны, несопоставимы. Ну примерно, как портреты Рембрандта и русская иконопись того же времени, как «Любительница абсента» Пикассо и скульптуры Мухиной.

Единственные объективные параметры, по которым мы можем оценивать особенность именно культурной истории, — это *развитие от сложного к простому, от разнообразного к стандартизированному, от сакрального к профанному*.

Орудийная история выглядит иначе. Более того, несмотря на то, что к этой самой истории — будь то в ныне популярном жанре исследования «древних индустрий» и «трансляции технологий», будь то в бесчисленном списке работ про «историю производительных сил» — внимание не ослабевает, орудийная история недооценена. Ее часто путают с экономикой, ее смешивают с культурной историей, в итоге из поля зрения исчезает несколько важнейших особенностей этой истории.

Главное, из которого вытекают прочие следствия, — *орудийная история* с самого момента своего появления *глобальна*. Когда мы говорим о том, что «возник» каменный век, то, несмотря на то, что говорим мы всего лишь о клочке земли в окрестностях Олдувайского ущелья, мы смело можем утверждать, что каменный век возник на Земле. Когда мы говорим о «неолитической революции», мы также говорим об этом феномене как стадийно-планетарном, несмотря на то, что большая часть

человеческих коллективов в это время находилась еще на мезолитической стадии, а некоторые из них на ней продолжали оставаться вплоть до XX века. Когда мы говорим о бронзовом веке или веке железном, мы, несомненно, вновь говорим об этапах именно в истории человечества, в масштабах всей его популяции — опять же невзирая на то, что до прихода европейцев большая часть народов и культур Старого Света, Африки и Океании ничего не знала о железе.

Точно так же мы говорим о промышленной или индустриальной революции и надежно датируем ее временем второй половины XVIII века — хотя в некоторых своих проявлениях она только подступает к отдельным регионам планеты. И уж точно мы осознаем несомненную глобальность двух последних революций — научно-технической и информационно-постиндустриальной, когда научные знания приобрели статус орудий, а компьютерная автоматизация приняла необратимый и все более экспансивный характер. Глобальность наблюдаемого ныне «финального» эффекта общей орудийной истории рефлекторно переносится на все предшествующие стадии. И это справедливо. В том числе и потому, что, несмотря на культурные катастрофы и кризисы, откаты назад, забвение целых столетий собственной письменной истории, *орудийная история не знает поражений*. Парадокс и все еще неразрешимая загадка орудийной истории состоят в том, что она лишь отчасти синхронизируется с кризисами и коллапсами культурной истории, более того, невзирая на разрывы культурной традиции, она сохраняет свою *непрерывность*, а культурно-исторические кризисы преодолевает стадияльно-новыми технологическими обретениями. Пусть на других территориях, в контексте уже иных культурных систем, но вектор непрерывности, *преемственности и стадияльности* остается неизменным. Пересекая меридианы и широты, она движется от региона к региону, от палеолита к неолиту, от неолита к эпохе «бронзы» и «железа», от них ко все новым и новым индустриальным переворотам в совершенно иных местах, удаленных от своей олдувайской ойкумены.

Орудийная история, словно эстафетная палочка, словно «нить Ариадны», сохраняя технологическую преемственность и амбициозно расширяя спектр собственных возможностей, не мыслима без любой из своих инновационно-технологических стадий. Даже самые яркие феномены культурной истории не обладают сопоставимым весом с историей орудийной — ни египетские пирамиды, ни руины минойской цивилизации, ни величественные развалины Теночтитлана, Мачу-Пикчу или Мохенджо-Даро. Даже они не позволяют нам утверждать о том, что путь человеческой цивилизации претерпел бы без них принципиальные изменения. Краски были бы иные, картинка была другой, но сам путь оставался бы прежним. Но вырви из этой орудийной эстафеты «неолитическую революцию» X тысячелетия до н. э. или открытие выплавки и обработки железа хеттами в XIV веке до н. э. — и нет и не будет никакой эры Интернета и автоматизации. В этом смысле именно орудийная история демонстрирует то, что зовется словом «*прогресс*». Именно в этом процессе феномен «прогресса» не может быть оспорен и постмодернистски развенчан в своей неуловимой относительности. Прогресс в орудийной

истории является наблюдаемым и проверяемым на вкус и на ощупь естественнонаучным фактом.

Глобальность, непрерывность, стадийность, линейность, прогрессивность — главные черты орудийной истории. И это совершенно иная темпоральность, иное воплощение времени, нежели то, что демонстрирует *странная* и запутанная культурная история.

* * *

Социальная история, или история социальных структур, — третье измерение процесса развития человеческих обществ. И у этой истории тоже своя, особая траектория, и более того, именно эта история в максимальной степени говорит о человеке в первую очередь как о биологическом виде с соответствующими ограничениями и спецификой.

Уже давно известно, что та самая социальность, которой мы привыкли кичиться как неким родовым признаком истинно человеческой природы, является своеобразным плодом биологической эволюции, находящим прототипы в социальном поведении иных приматов, и не только приматов. Этологические, социобиологические исследования последних лет, к примеру, выявили, что для тех же приматов характерно не только строительство социальных структур, основанных на иерархии, клановости, с полным набором «классовых противоречий» между «доминирующими», «подчиненными» и «отверженными» особями, но и систематические проявления «солидарности» и «альтруизма». Отличительная особенность человека разумного в сравнении с собратьями-шимпанзе, как оказалось, состоит не столько в проявлении самой социальности, сколько в ее особой устойчивости, большей эмоциональной вовлеченности, «завязанности» и «привязанности» индивидов по отношению друг к другу, в ее культивировании, способности ее развивать.

Природа этого отличия также оказалась собственно биологической. Группа американских исследователей из университета Дюка в 2005 году нашла ей объяснение в весьма незначительном отличии генома человека от генома шимпанзе (около 2 процентов), отчасти сводящемуся к синтезу в больших объемах (на 20 процентов) так называемого продинорфина, являющегося материалом для производства «эндорфинов»¹⁰. Да, именно тех эндорфинов, генерирование которых в нейронах головного мозга, по мнению антропологов, не только непосредственно влияет на нашу эмоциональность, способность к обучению и запоминанию, но и оказывается «биологически заданным» механизмом, дающим человеку разумному установку на формирование стабильных социальных связей и их трансляцию. Генетики считают, что последние мутации, которые путем естественного отбора сформировали именно такую биологическую специфику «человека», произошли примерно 80 тысяч лет назад. То есть тогда, когда современный человек уже существовал в облике кроманьонца.

¹⁰ См. Rockman M. V., Hahn M. W., Soranzo N., Zimprich E., Goldstein D. B., Wray G. A. Ancient and Recent Positive Selection Transformed Opioid cis-Regulation in Humans // PlosBiology. 2005. № 3 (12).

Самое любопытное и принципиальное заключается в том, что этот «эволюционный потолок» и служит по сей день фундаментом строительства и развития самых разнообразных исторически засвидетельствованных социальных структур. В то же время эта биологически заданная и непреодолимая константа периодически проявляется весьма странным образом. Еще одно относительно недавнее открытие, но уже в собственно культурной антропологии, наглядно демонстрирует истинную природу социальности. Лев Клейн в ряде работ выявил то, что можно было бы назвать «биологической ограниченностью» человеческой социальности, в том числе современной социальности¹¹. Клейн обнаружил типологическое сходство между структурами, которые формируются в таких аномальных и экстремальных условиях, как лагерь и тюремное заключение, со структурами архаического, наиболее древнего этапа в развитии социальности. *«Жесткие обряды инициации — в тюрьме они называются “прописка”... Табуированность многих слов и действий (в уголовной среде — “понятие”). Татуировка, которая имела такое же символическое значение и была столь же функциональна, как в первобытном обществе, обозначая статус и состояние человека. ...Трехкастовая структура общества (“воры”, “мужики” и “чушки”); выделение вождей с их боевыми дружинами; сбор дани; вера в магию и приметы; примитивность речи; демонстративный культ матери»*. Клейн находит достаточно длинный список подобных точных соответствий и дает объяснение их природе. Он считает, что все эти особенности являются не чем иным, как подлинной сущностью нашего биологического вида, кроманьонца — *Homo sapiens sapiens*. Сущностью, которая проявляется с неизбежностью там и тогда, когда исчезают компенсаторные механизмы культуры. В условиях дефицита этих механизмов проявляется драматический разрыв между биосоциальной и социокультурной природой человека. Первая осталась неизменной со времен появления кроманьонцев. Вторая вырвалась далеко вперед. «Мы — кроманьонцы» — твердо и хладнокровно делает вывод Клейн¹².

Опираясь на убедительные типологические сопоставления Клейна, можно пойти дальше и прийти к не менее смелым выводам. Именно они проливают свет на многие явления, которые мы все время относили к числу, быть может, не совсем корректных аналогий. Ведь мы же доподлинно знаем, что утрата компенсаторных механизмов культуры, смена культур — это процесс регулярный, ритмический, повторяющийся во времени. Он не ограничивается экстремальными казусами тюремно-лагерного заключения, а проявляет себя волнообразно во времени, когда социальность то и дело сбрасывает с себя лоск прежних культурных завоеваний и обретает отчетливые уголовно-криминальные черты. Периодическое сваливание истории в «феодализм», в «темные века»,

¹¹ См. Клейн Л. С. Культуры и эволюция. Теоретические исследования. (В печати.)

¹² См. Клейн Л. С. Культура, первобытный примитивизм и концлагерь // Россия: Культурные традиции и процессы модернизации: «круглый стол». СПб., 2005. С. 111—114.

распад самых развитых форм социальности и их воспроизводство в архаической клановой форме — также проявление именно этой, нашей кроманьонской природы. А потому, сколь периодичны взлеты культуры и орудийной истории, столь же периодичны и те пропасти, в которые проваливаются человеческие коллективы. Как только в силу самых различных причин исчезают помочи культурных стандартов и строительные леса орудийной эволюции, на поверхности остается только наша способность делать единственное, чем нас наградила природа, — строить клановые, жестко иерархичные структуры, предаваться самым диким суевериям, демонстративно подчеркивать свой статус и клясться «мамой родной». И дело не только в том, что эти пропасти не бездонны, что нам не дано свалиться глубже кроманьонской архаики. Дело в том, что, судя по всему, вся наша социальность с ее конкретно-историческими структурами формируется, развивается и строится под воздействием культурной и орудийной истории. Она не является субъектом процесса, она — относительно пассивный объект, всегда определяемый культурно-технологическим базисом. Сам же вектор социальной истории, сколько ее ни развивай, «сколько ее ни корми», смотрел, смотрит и будет смотреть только в сторону «кроманьонского леса».

Непредсказуемо-творческой траектории культурной истории, линейно-прогрессивной траектории истории орудийной противостоит некая *сила тяготения*, некая *вечная гравитация*, довлеющая над социальностью и время от времени одерживающая верх над воздухоплавательными экспериментами человеческой цивилизации. *Социальная гравитация* и есть вектор социальной истории, всегда обращенный к началам человеческой цивилизации. Сколь бы затейливые формы ни представляла социальность — от «первоначальных структур родства» до разнообразных предгосударственных, клановых, кастовых или классовых структур, какие бы сложные узоры ни демонстрировала она на разных стадиях, в различных государствах и империях, эта социальность всегда оказывалась *обратима*, и сила социальной гравитации всегда была готова оказаться единственной, монополярной силой, говорящей о подлинной человеческой природе, для которой нет ни прошлого, ни будущего.

В этом смысле история бывает весьма предсказуема, по крайней мере ее возможная финальная стадия может быть известна. Конечно, спуск по этой лестнице вниз еще ни разу не достигал этого самого финала в полном смысле слова. Наоборот, после каждого спуска начинался новый подъем вверх. Тем не менее нас не должно удивлять, что на этом пути встречалось немало уже пройденных этажей — типа «постмикенского регресса» или Раннего Средневековья, столь типологически схожих друг с другом и со всем тем, что мы начинаем ощущать в настоящем. Это действительно универсальные состояния.

* * *

И все равно остаются вопросы: способны ли мы на этот раз не свалиться глубже и ниже обычного? способны ли мы затормозить и вновь развернуться, направив свое движение вперед и вверх? способны ли мы на это сейчас, в начале XXI века, когда, вне всякого сомнения, наблюда-

ется синхронный глобальный культурный, орудийно-технологический и социальный кризис?

Этот кризис одними теоретиками определяется в качестве кризиса сугубо экономического, причем большинство видит в нем проявление кризиса чего-то до такой степени «неэкономического», что предлагает изменить сам объект экономической науки. Другие макросоциологи — такие, как Иммануил Валлерстайн, Майкл Манн, Рэндалл Коллинз, Георгий Дерлугьян и Крэг Калхун, считают этот кризис финалом «капиталистической системы» и преддверием иного общества, представляющего либо новую левую, либо консервативно-фашистскую долгосрочную альтернативу¹³.

Но, наверное, будет правильным отметить, что *это действительно первый глобальный культурный кризис*, не проявлявшийся в таких масштабах никогда прежде. Он стал итогом глобальности культурного развития, не имевшей аналогов до второй половины XX столетия. Глобальности, выражающейся в массовом потреблении идентичных, все более и более стандартизированных *культурных продуктов*. Ничего похожего в таких масштабах прежде не наблюдалось. Категории престижа, символичности, знаковости объектов потребления, иррациональное доминирование именно их в бесчисленной номенклатуре того, что именуется «товарами», свидетельствует в пользу *культурной природы* наблюдаемой реальности. С другой стороны, визуальное разнообразие объектов культурного потребления на самом деле является мнимым. Генеральным процессом являются как раз ускоряющаяся стандартизация и униформизация объектов культурного потребления, что само по себе является симптоматикой кризиса. Нужно ли особо доказывать, что этот процесс закономерно сопровождается профанацией всех тех пороговых смыслов — религий, научных теорий, ценностей, которые были порождены эпохой «осевого времени» и всех последующих столетий проектно-ориентированного развития. Траектория от сакрального к профанному, от великого к смешному завершается очередным, но уже глобальным тупиком понимания. Когда, к примеру, совершенно не ясно: где именно следует смеяться в случае с известным «перформансом» в Освенциме? смеяться ли над карикатурами Шарли Эбдо или негодовать по их поводу? какие чувства хотели вызвать сами карикатуристы — вегетарианские смешки в кулачок или тот взрыв эмоций, который привел их к гибели?

Можно только позавидовать тому, кто знает единственно правильный ответ на эти вопросы. А ведь современный мир в буквальном смысле весь соткан именно из таких взаимоисключающих дилемм. И господствующая постмодернистская рефлексия не только не способна помочь в поиске ответа, но, напротив, сама является еще одним очевидным симптомом кризиса.

И мы видим пока единственную и совершенно предсказуемую реакцию на этот исторический вызов. Эта реакция обнаруживает себя в об-

¹³ См. Есть ли будущее у капитализма? : сб. статей И. Валлерстайна, Р. Коллинза, М. Манна, Г. Дерлугьяна, К. Калхуна / пер. с англ. под ред. Г. Дерлугьяна. М.: Изд-во Ин-та Гайдара, 2015.

лике консервативных поисков былого величия, попытках отгородиться, изолироваться, спрятаться от реальности, найти убежище в рукотворной реконструкции всего того, чего никогда не было — радикального ислама, православного фундаментализма, общеевропейской ментальности, вечного конфликта Запада и Востока, Юга и Севера. «Кроманьонский лес» все громче зовет к себе, — а у нас явно все меньше и меньше иммунитета, для того чтобы на сей раз не поддаться этому «вечному зову предков».

И все-таки, как всякий кризис, этот кризис также дает шанс на иные сценарии. Кризис делает слабыми всех, кто участвовал в прошлой игре. Он лишает их возможности оказать серьезное сопротивление тому новому, что обязано возникнуть. Именно культурная природа кризиса позволяет утверждать, что единственно позитивным ответом на него может быть ответ, формирующийся в облике новой, принципиально нерыночной, проектной парадигмы. По законам жанра описанных инверсий этот новый пороговый смысл будет исходить из уже известной логики, основанной на том, что сначала должна быть соответствующая проектная теория, потом взятие политической власти и лишь затем осознанное и целенаправленное формирование новой индустриальной и социальной реальности. Самый известный из всех левых проектов — проект советский — был именно таковым совершенно не случайно: в первую очередь он решал не классические противоречия, свойственные капиталистической системе, а противоречия цивилизационные, культурные в широком смысле этого слова.

Антирыночность социалистической теории совпадала с принципиальной «нерыночностью» культурно-стадиальных задач и проблем тогдашней России, заставив даже одного из основателей советского государства начать изъясняться чуть ли не языком профессионального культуролога. «Если для создания социализма требуется определенный уровень культуры (хотя никто не может сказать, каков именно этот определенный “уровень культуры”, ибо он различен в каждом из западноевропейских государств), то почему нам нельзя начать сначала с завоевания революционным путем предпосылок для этого определенного уровня, а потом уже, на основе рабоче-крестьянской власти и советского строя, двинуться догонять другие народы», — утверждал Ленин в январе 1923 года¹⁴.

И в этом контексте становится более понятным триумфальное шествие коммунизма в XX веке в Китае, Монголии, Корее, Вьетнаме, его позитивное восприятие в Средней Азии, Африке и Латинской Америке — то есть именно там, где он становился культурной альтернативой и «кроманьонской деградации», и полуколониальному и колониальному рабству. В добуржуазном и одновременно антибуржуазном обществе не просто ясна, но и осуществима логика левой модернизации: от идейного переворота к власти, а от нее — к перевороту орудийному, индустриальному. В обществе буржуазном не только практически неосуществима такая

¹⁴ Ленин В. И. О нашей революции (По поводу записок Н. Суханова) // Он же. Полное собрание сочинений. Т. 45. С. 381.

логика, она сама по себе была и остается объектом нещадной критики, в том числе со стороны марксистов, воспринимавших ее как «ересь» и «азиатчину».

Но у истории не существует иных проектов, кроме левых. И там, где глобальный кризис явил миру черты выродившегося, мутировавшего, уже не рыночного по своей сути капитализма, с агрессивной, суетливой, «так ничего и не понявшей» политической надстройкой, живущей по часам охотников и собирателей верхнего палеолита, этот проект начинает ощущаться уже по своему отсутствию. Примерно так же, как по исканиям кумранской секты ессеев, по реанимируемым культам Митры и Осириса, по росту популярности идей стоиков в свое время чувствовалась некая вакансия, фигура умолчания, явное отсутствие того, что очень скоро приобретет целостное выражение в христианстве.

Новый левый проект еще не стучит в дверь этой странной эпохи, готовой явить миру очередной ренессанс «дикости», распада и деградации. Он еще не стал альтернативой нашествию «народов моря» и готам Алариха, сжигающим Рим. Но он уже обсуждается, пробуется, испытывается. Масштабы экспериментов удручающе незначительны и все еще сомнительны по практическим эффектам — от Молдавии до Исландии и Греции. Характер новых теоретических обобщений все еще не обладает статусом того, что можно было бы назвать современной левой «реформацией». Но догматы и каноны современного мира более не вызывают ни доверия, ни эмоционального преклонения. И вопрос лишь в одном: успеет ли новая просвещенная реформация, реформация левая низвергнуть эти каноны и догматы раньше всех тех, кто уже спускается в подземелье прошлого, кто уже поднял феодальные стяги и боевые хоругви? успеет ли она выработать то представление о будущем, которое позволит преодолеть исторически данную силу социальной гравитации и вдохновить мир на новый этап коллективного сотворения?

Ответа нет. Ясно лишь одно: без такого представления о будущем будущего уже не будет. И по законам нынешней эпохи «либеральной архаики» драматическая развязка произойдет не когда-нибудь, а в настоящем. ◆